



— Ты никуда не поедешь.

— Придется, — вздохнула я, доставая из кладовки чемодан на колесиках. — Билеты куплены, так что поздняк метаться. Не могу ж я подводить человека.

Удушливая волна жара пыхнула на меня оттуда, как из печки. Я быстро захлопнула дверь кладовки и отступила назад, поближе к неистово рычащему вентилятору.

У отца в квартире отродясь не было кондиционера, не знаю уж, как он без него выживал. Сама я здесь пока что еле сводила концы с концами. Какой уж тут кондиционер! Хоть он и стоял у меня в списке первым среди отложенных до непонятно когда покупок.

Она вырвала чемодан у меня из рук и шарахнула им об стенку с такой силой, что одно колесико погнулось, другое вовсе отломилось и закатилось куда-то за угол коридора.

— Тём, что ты творишь!

— Ты! Не! Поедешь! Никуда! — Она вцепилась в чемодан зубами и стала рыча, с остервенением драть его зубами на части. Куски кожи полетели во все стороны, пластмассовая ручка больно ударила меня по щеке.

— Тём, ну что ты как маленькая? Ну поеду с рюкзаком, делов-то.

Она выгнулась и зашипела на меня, как кошка. Из глаз полетели искры, полыхнули, упали на ковер и погасли. Я тревожно проследила за ними взглядом. Черт, с нее ведь станется и пожар устроить.

— Тём, ну давай по-человечески поговорим. Мне самой не очень-то хочется ехать... Но, понимаешь, бывают всякие обстоятельства...

— Не хочется — и не едь!

— Тёма, я тебе сто раз уже объясняла!

— Я тебя не пущу!

— Как? Малыш, как ты можешь меня не пустить?

Она стояла у окна, я — перед входом в комнату. Внезапно, одним прыжком преодолев разделявшее нас расстояние, Тёма повисла у меня на шее, обхватив талию ногами, и заревела — громко, по-детски, шмыгая носом, пачкая мне майку слезами и соплями.

Слезы у нее были обычные. Соленые, как у всех людей. Я погладила ее по остро выпирающим лопаткам. Какая же она худенькая, в чем душа...

— Тёмушка, перестань! Тём, ну ты чего?! Тём, ну я же вернусь! Вернусь скоро-скоро! Солнышко, ты даже соскучиться не успеешь! Ну хватит уже, ты меня задушишь.

— Не вернешься! Не вернешься, потому что никуда не уедешь! Нельзя! И-эфшар!

Спрыгнула с меня и заметалась по комнате, брызгая слюной и отчаянно жестикулируя. На миг мне показалось, что она сошла с ума. Из рта ее потек поток слов, в котором ничего нельзя было разобрать, поскольку как всегда, волнуясь, Тёма мешала русские слова с еврейскими, арабскими, арамейскими, других каких-то древних, давно исчезнувших с лица земли языков, на которых говорила с ней мать.

Внезапно в комнате сделалось темно, несмотря на пылающее за окном солнце, и прохладно, несмотря на душливую жару, который месяц не выпускавшую Иерусалим из своих цепких объятий. Ох уж эта израильская жара! Как я ее ненавижу!

Лопасты вентилятора замерли, беспомощно дернувшись в последний раз. Поток незнакомых слов неожиданно прекратился. В комнате воцарилась гнетущая тишина, изредка нарушаемая треском электрических разрядов. Тёмка, не мигая, смотрела куда-то вверх.

Под потолком сконденсировалось лиловое облако. Внутри него вспыхивали маленькие багровые молнии. В воздухе запахло свежестью и озоном. Громыхнул гром, и с потолка на ковер хлынул дождь.

Дождь! Дождь! Моя главная мечта в этой изнывающей от жары стране! Как часто он в последнее время снился мне по ночам.

Наверное, она тайком заглядывала в мои сны.

Господи! Как же мне не хватало дождя!

Забыв на мгновение обо всем на свете, запрокинув голову, я подставила лицо под струи воды и, зажмурившись, замерла, обхватив плечи руками, постанывая, не в силах сдержать охватившего меня блаженства.

Мы стояли посреди комнаты, и ливень хлестал нас по волосам, по плечам, стекал по спине, по лицам, обожженным солнцем, затекал сладковатыми каплями в полуоткрытые рты.

В дверь квартиры забарабанили:

— Эй, соседи, есть здесь кто-нибудь?! У нас течет с потолка! Трубу у вас, что ли, прорвало?!

— Сейчас-сейчас! — откликнулась я, не сразу очнувшись, откидывая мокрые волосы со лба.

Дождь перестал. Вокруг все было залито водой. От ковра и от постели шел пар, в трещинах плиток пола стояла вода, большая лужа растекалась на полу в коридоре — коридор у нас на пару миллиметров ниже комнаты.

— Что ты натворила! — шикнула я на Тёмку. — Немедленно убери!

Тёмка щелкнула пальцами, и вода в мгновение ока испарилась.

— Теперь ты не уедешь? Нет? — шепнула она, явно довольная, скрываясь в ванной, пока я шла объясняться с соседями.

Глупая! Можно подумать, дело в дожде!

Если б только я могла ее взять с собой...



— Ну, за тебя! Не могу поверить, что ты это всерьез. — Светка отпила из стоящего перед ней бокала и тут же снова долила его из спрятанной под столом бутылки. Бутылку мы прятали под столом от моей мамы, которая не одобряла бытового пьянства, то есть пьянства без повода.

Хотя, по правде говоря, повод у нас был. Проводы меня.

— А что тебе здесь видится такого уж странного?

— Ну... вообще. Сама как думаешь — нормально? Живешь ты себе живешь, ходишь в детсад во дворе, в школу через дорогу, в институт поступаешь в трех остановках, замуж по той же ветке метро выходишь и вдруг — фьють! Все к чертям!

— Вот-вот. Вся моя жизнь прошла вдоль одной и той же ветки метро. И была такая же серая. Убиться можно! Когда-нибудь надо менять цвет.

— Но не столь же радикально... — Бутылка звякнула, вновь осторожно возвращаясь под стол.

— А по-моему, Свет, только так и можно! А не то что некоторые — хвост по частям. Каждый день еще кусочек, еще кусманчик, еще лоскутик — и каждый раз заново болит. Я б не выдержала. А так раз — и на другой край земли. И все по новой!

— Не пугай меня! Не в Америку едешь. С Израилем у нас хоть безвиз.

— Во-о-от! Совсем другой разговор! Приедешь ко мне в отпуск. Буду пичкать тебя фалафелем с хумусом, пока не

растолстеешь. Будем вместе валяться на морском берегу и смотреть на заходящее солнце.

— В Иерусалиме ж нет моря!

— Подумаешь! Зато в Тель-Авиве есть. Сорок минут на автобусе. Меньше, чем от нас до центра.

— Счастливая ты! Все у тебя просто...

— Светусь! — Я бросаю паковать книги и сажусь на диван рядом с ней. — Да ведь все просто и есть! Берешь билет, садишься и едешь. Главное, ничего не усложнять.

— Чего тебе здесь-то не живется?

— Свет, ну ты ж сама все знаешь. Во-первых, негде.

Она молча обводит руками пространство вокруг.

— Что, с мамой?! Да что я, маленькая? После стольких лет замужа опять с мамой?! Особенно этот ее будет в восторге.

Мы с новым маминым мужем никогда не ладили. Из-за него я и замуж так рано вышла. Другое дело пап Саша. Он и вправду мне как отец был. А этот...

— А Сережка? Ты уверена, что у вас с ним все? Все-таки десять лет, и дружили до этого еще столько.

— Дружили. Десять лет. А теперь все.

Светка закатила глаза:

— Господи, с пятого класса! Умереть не встать! Вот как после этого жить? Всю жизнь вы у меня перед глазами как эталон простого человеческого счастья. И все испортили!

— Ну извини. Мы, чес-слово, не нарочно.

— Да знаю.

Отхлебнула еще и цапнула у меня из пачки сигарету.

— Вот как ты себе это представляешь? Там же одни евреи. В шляпах, с пейсами. По телику посмотришь — ужас!

— Во-первых, неправда. В Израиле много наций живет. Там даже цыгане есть, я в сети читала. И русских полно, особенно в Иерусалиме и Назарете. Во-вторых, что тебе евреи — не люди? Пап Саша, между прочим, тоже в последние годы пейсы отрастил. И бабушка у меня еврейкой была.

— Подумаешь, бабушка! Много ты от нее добра видела! Дядь Саша — другое дело! Тут тебе свезло. И любил как родную, и квартиру свою оставил. Хотя кому ему еще оставлять? Кто у него, кроме тебя, еще в жизни был?

— Ну он мог... родственникам каким-то дальним. Он ведь писал, что нашел в Израиле кого-то. Со стороны отца или матери. Не помню.

— Тю! Где дальние родственники, а где ты. Тебя-то он с пеленок знал, а там... Надо еще посмотреть, что за

родственники.

— А скажи, странно, что он так больше и не женился! Такой был красавец и в молодости, и потом, когда я к нему приезжала. Волосы черные, густые, глаза голубые, высокий. И в форме себя держал, до последних лет ни брюха никакого, ничего.

— Понятно, готовить-то некому. Ох, Сонька! Помню, они с матерью твоей как куда идут... Красивы-ые! Глаз не отвести. Все бабье во дворе к окнам липло. Мамка моя аж зубами скрипела: «И за что этой проститутке такое счастье?! За то, что по подъездам шлялась, пока другие честно в школе учились?»

— Твоя мама? — недоверчиво шурюсь я. — Они ж вроде такие подруги!

— Ну так что — подруги? Что ж она, не человек, что ли, мамка? Что ж ей, счастья не хочется? А когда одним красавцы под метр восемьдесят и с образованием, несмотря что с ребенком. А другим козлы вроде моего папани. Метр с кепкой, всю жизнь слесарем на заводе, а гонору! Неделями не просыхает, хоть бы он ушел от нас, наконец, к чертовой матери! Вот бы вздохнули спокойно!

— Ага. От некоторых еще и уходят. Убиться можно, какое счастье.

— Не передергивай. Он же не от вас, он из Рашки свалить хотел. И я его понимаю! Отсюда кто хошь свалит, было бы куда, пусть даже в Жидовию. И я же помню, он мать твою с собой звал. Она сама отказалась.

— Ну куда она поедет?! У нее ж работа. Всем сестрам по серьгам, по всем точкам все схвачено. И с этим своим она уже всюю встречалась. Просто папа Саша не знал.

— А может, и знал. Просто любил и виду не подавал. Потому и не женился больше ни разу!

— Ох, Светка! Любишь ты красивые сказки! Потому и замуж не выходишь. Вон седина уже в волосах, а все алых парусов откуда-то ждешь.

— Чего?! Это у кого седина?! Это у меня, значит, седина?! Ах ты... Да знаешь, что я с тобой сейчас сотворю?! Убью! Вот этим самым ножом, для хлеба! Знаешь, где сейчас Славка мой? А за что, тоже знаешь? Так вот он меня всему научил! Ах ты, выдра крашенная! Сама небось вся седая! Снизу, где не видно!

— Светка, положи нож! Нож, говорю, положи, идиотка!

Господи, когда же она успела так набраться! Наверное, пока я книжки складывала. Убиться можно, как

я проглядела?! Полбутылки втихаря вылакала!

— Ну вот зачем ты пьешь? Знаешь ведь, что тебе нельзя.

— Соня, Сонечка, прости меня, я дура, прости меня, пожалуйста, только не уезжай! Одна ведь ты у меня от всего моего детства осталась! Уедешь — ничего вообще не останется, совсем ничего, как не было! А ведь мы с тобой, помнишь, мы... Сонька, ведь ты же помнишь?!

— Помню я, все помню, успокойся. Не плачь, Светка, не дури. Ну чего ты вдруг? Прорвемся. Все, все, не плачем больше. Умоемся и больше не плачем. Давай с тобой лучше спать. Ты с краю только ложись, а то вдруг тебя опять рвать начнет. Увидишь, все у нас будет хорошо. Приедешь, пойдём на море, встретим там каких-нибудь принцев. А вообще, может, ты и права. Может, папа Саша и знал.



До дома в Рехавии я добралась лишь в сумерках. Маршрутное такси из аэропорта долго кружило по улицам Иерусалима, развозя туристов по отелям и местных по их домам.

Я чувствовала себя где-то между. Уже не туристка, но еще не до конца своя. Вроде и гражданство уже есть, и жилплощадь, и даже объясняться на иврите я, тогда раба (*спасибо*) папе Саше, умею получше многих, которые живут здесь годами.

Но что-то все равно мешало чувствовать себя здесь как дома. Точно невидимая пуповина, натянувшись, по-прежнему связывала меня с Москвой, заставляя вскрикивать ежеминутно, не вслух, конечно, а про себя: «Ну надо ж, как это оно у них здесь устроено!»

У них, не у нас.

Стайка юных девиц в зеленом прошла по улице, весело щебеча и небрежно помахивая перекинутыми через плечо автоматами. Бородатый старик в кафтане и с развевающимися пейсами обогнал нас, бодро крутя педали велосипеда. В корзинке на багажнике у него позвякивали бутылки с вином.

Маршрутка, резко свернув, встала у чугунных ворот дома, где я когда-то проводила каждые каникулы. За прошедшее с тех пор десятилетие дом ни капельки не изменился, не постарел и не обветшал. Выглядел точь-в-точь как в моих снах. Да и что сделается иерусалимскому камню?

Золотой Иерусалим, золотой Иерусалим... Желтый он, вот и всё. Цвета известняка, которым все здешние дома облицованы. Вот вы знали, что Иерусалим весь состоит из желтых домов, а каждый третий житель его воображает себя мессией? Не знали? Ну теперь знаете. Вот как тут у них. Тьфу, у нас.

Я расплатилась с шофером, откопала в багажнике свой заваленный чужими вещами чемодан и поволокла его, чертыхаясь, на третий этаж. Придется привыкать, лифты в иерусалимских домах — редкость. Не то что... Я достала ключ, только сейчас осознав, что все десять лет так и таскала его с собой, тупо перекладывая из сумочки в сумочку. Убиться можно! И в голову не пришло, что замок за это время могли сменить.

Но ведь не сменили!

Я вошла в прихожую, закрывая за собой дверь и одновременно щелкая выключателем. Пора уже вам узнать мою главную тайну — я панически боюсь темноты.

Вспыхнувший свет выхватил небольшой квадрат у дверей, низкие потолки и убегающие во тьму стены. Вдохнув в себя знакомый запах старых книг и корицы, я храбро шагнула вперед, на ходу вспоминая, где спрятаны выключатели, с трудом нашаривая их в полутьме. Квартира, как большинство здешних квартир, начиналась с пространства, в просторечии именуемого салоном, служившего одновременно прихожей, кухней, гостиной, а в папы-Сашинем случае также и кабинетом. Когда все углы и закоулки этого сорокаметрового пространства оказались освещены, я смогла наконец осмотреться.

Ну чё, все по-прежнему. Стол, массивный раскладной диван из потертой кожи, стоящие в беспорядке стулья. Книжные шкафы всех размеров и конфигурации. За стеклами толстые тома с золотым тиснением на иврите, арамейском, английском, русском, от Талмуда до Шекли и Конан Дойля. Книжки, книжки, книжки, как всегда всюду и везде. Словно хозяин их до сих пор здесь, словно и не умирал никогда.

Папа Саша не мог без книг, он вечно читал — в постели, за столом, в туалете, на балконе, куда выскакивал покурить. Причем всегда по нескольку книг зараз: эту для души, эту по работе, эту, чтоб думать, эту, чтоб язык не забыть, эту, чтобы отвлечься. Куда бы он ни шел, путь его был вечно отмечен книгами, небрежно брошенными вверх обложкой, распахнутыми где-нибудь посередине.

Портреты раввинов, мрачно взирающие со стен. Стекланные раздвижные двери с пола до потолка, за которыми балкон, за которым, внизу, горящий и переливающийся огнями Иерусалим.

Белесые пятна на черном мраморе кухонного стола. Две раковины, по обеим сторонам от них в порядке расставленная посуда. «Запомни, Соня! Справа молоко, слева мясо! — прозвучал у меня в ушах голос папы Саши. — Не дай бог тебе перепутать!»

Я старалась не путать. Ничего бы он мне, конечно, не сделал, но ведь расстроился бы ужасно. Сам всегда после еды все мыл и аккуратно расставлял.

Кастрюли и тарелки покрывал густой слой жирной пыли. Два года уже тут никто ни к чему не прикасался, так что пыль лежала на всем прям-таки вековая — на мебели, на полу, на книгах... Всмотревшись, я заметила кое-где в пыли странные разводы, похожие на птичьи следы. Но откуда здесь взяться птицам? Окна-то ведь закрыты. Может, сквозняки? Или насекомые какие-нибудь? Муравьи, сверчки, тараканы. Здесь их куча видов. Надо будет пшикалку от них купить. Главное, чтоб клопы не завелись. На первых этажах случаются даже скорпионы, но здесь, слава богу, третий.

Я заглянула в спальню. В папы-Сашиной был небольшой беспорядок: часть ящиков из комода и стола выдвинута, куча каких-то бумаг и ворох скомканного белья на полу. Видно, документы искали или одежду для похорон. Покрывало на кровати не тронуто. На тумбочке у изголовья толстый том на иврите и Брэдбери в бумажной обложке, цвет которой я помню еще с младенчества. Уезжая, отец почти все книги увез с собой, только несколько детских оставил мне.

Зато в комнате, которую я привыкла считать своей, творилось что-то невообразимое! Убиться можно! Не то там смерч пронесся, не то хулиганы малолетние порезвились. Одеядло, подушка, матрас — все валялось на полу. Из распоротого матраса торчали пружины и конский волос. Обнаженная кровать сверкала голыми досками.

С этажерки кто-то сбросил все мои безделушки и книжки. Все, что могло разбиться, разбилось, что могло сломаться, — сломалось. Некоторые вещи вообще выглядели так, словно их долго и яростно топтали ногами. Портрет моей мамы был не просто сорван — сам гвоздь, на котором он держался, был выворочен из стены с дюбелем и куском штукатурки. Пол был усеян осколками стекла, ключьями, обрывками, черепками. Стенной шкаф распахнут, постельное белье



с немногочисленной, забытой когда-то здесь детской одежкой изрезано или изодрано в клочья.

И опять повсюду следы лап, похожие на птичьи. Крысы, может быть? Этого еще только не хватало!

Выругавшись вполголоса и сама звуков голоса своего испугавшись, я захлопнула поскорее дверь.

И речи не могло быть, чтоб там ночевать. Да и необходимости не было. В папы-Сашиной комнате постельное белье по-прежнему лежало на своем месте в шкафу, защищенное от всех невзгод толстыми дубовыми дверцами и заботливо переложенное кусочками ароматного мыла. Сменив простыни и вытряхнув на балконе одеяло, я вынула чистое полотенце и отправилась в ванную. Шел март, но на улице было довольно тепло, и можно было надеяться, что солнечные батареи согрели за день достаточно воды.

В ванной меня поразило наличие в шкафчике хны. По меньшей мере годовой запас. Папа Саша волосы, что ль, начал красить на старости лет? Но почему тогда в рыжий цвет? И бритвенный станок с проржавевшим лезвием. Папа Саша, насколько мне помнится, брился только электробритвой. Как-то это у него было связано с религией.

Но я чересчур устала, чтоб ломать себе голову. Сполоснула ванну, заткнула пробкой. Набрала воды и медленно опустилась в нее, чувствуя, как по телу разливается блаженство. Я — дома! И не надо обманывать себя, здесь мой единственный настоящий дом. Дом, завещанный мне единственным на всей земле человеком, которому было на меня не плевать. Пусть он там не волнуется! Я все его книжечки сберегу в целости, а некоторые, может быть, даже прочитаю.

Ванная незаметно стала заполняться клубами сладковатого, с неясной горчинкой пара. Мыло, что ли, местное со стенок не до конца смылось? Или из других квартир с вентиляцией принесло? В уши ввинтилась негромкая незнакомая мелодия. Что-то явно восточное, высокие капризные звуки, дрожащие, как комариный писк, повизгивающие на концах такта. На улице где-нибудь играют. Глаза сами собой начали слипаться...

Я решительно тряхнула головой. Так ведь и утонуть недолго! Мелодия сразу смолкла, сладковатый туман рассеялся. Я взяла с полки жидкое мыло, начала намыливаться. Мыло пахло резко и незнакомо. Тоненький

перевернутый серпик луны подмигивал из окошка под потолком.

На полке рядом с мылом стояла игрушка — чугунный чертик с длинным хвостом. Точно не мой, у меня таких не было. Да и взрослая я уже была, чтоб игрушки в ванну таскать, когда сюда приезжала. Ишь какой! Расселся там похозяйски, прищурился и нос мне показывает.

Я привстала, протянула к чертенку руку и тут же брякнулась обратно на задницу, пребольно ударившись копчиком. Ощущение было, словно меня толкнули в грудь. Я попыталась снова встать. На сей раз меня дернули за ногу, с такой силой, что я опрокинулась и ушла под воду с головой.

Вынырнув, я услышала мерзкое хихиканье и шлепанье по полу босых ног.

— Кто здесь?! — заорала я, выскакивая из ванны, на ходу кутаясь в полотенце.

Мокрые птичьи следы на полу, и никакого ответа. Ну если не считать ответом хихиканье и ледяной сквозняк, от которого невысохшая кожа немедленно покрылась мурашками, портреты закачались на стенах, хрустальки в люстре задзынькали, а занавески на окнах заплясали, взметнув клубы пыли.

— Да что за хрень?! — заорала я, испытывая лишь здоровую злость. Копчик болел, и вообще, мне уже стало ясно, кто устроил балаган в моей комнате. Ох попадись мне этот полтергейст! Уж он у меня узнает!

Наверное, будь я в Москве, я бы испугалась. А здесь все происходящее вполне вписывалось в общую концепцию Иерусалима. Другой мир, другие реалии. Невозможное возможно и очевидно.

Но тут вырубился свет и меня окружила тьма, столь плотная, что на мгновение показалось — я оглохла, ослепла и вообще, наверное, меня больше нет. Это неизвестно что убило меня вот так, играючи, как кошка мышку. Попытка вдохнуть ни к чему не привела. Воздух не лез в горло, сделавшись вязким и густым, как смола. В ушах зашумела кровь, ноги подкосились. Я вцепилась во что-то рукой, наугад, только чтоб не упасть.

Что-то оказалось плечиком — узеньким, холодным и влажным.

А потом мне внезапно вернули воздух.

Сказать, что я завизжала, ничего не сказать. Не всякая сирена способна издать такой звук. Надо полагать,

я произвела впечатление. Через секунду свет вспыхнул, а в дверь неистово застучали снаружи.

— Рэга! (*Секунду!*) — отозвалась я, отстраняя стоящее рядом мелкое белобрысое и костлявое потом разберусь что и плотней запахиваясь в полотенце. Портить с первого же дня отношения с соседями в мои планы не входило.

Странное существо заговорщицки подмигнуло, прижало палец к губам и скрылось за дверью папы-Сашиной спальни.

— Ну? Лама ат царахат, капара алайх? — спросил с порога высокий парень в джинсах, майке и с серьгой в ухе, взглядываясь настороженно вглубь салона. — Кара машеху? (*Что ты вопишь, буду я жертвой за тебя. Случилось что?*)

— Ло, ло, слиха, слиха, ха коль беседер. Пашут ани мефахедет меод ми хоших. (*Нет-нет, извините, все уже в порядке. Просто я очень боюсь темноты.*)

— А ты давно здесь живешь? Что-то я тебя здесь раньше не видел. — Парень неожиданно перешел на русский.

— Только сегодня приехала. Вы извините, просто свет вдруг погас.

— А, это ты привыкай. Тут, это, случается афсакот хашмаль (*случаются перебои с электричеством*). Не часто, но. Иной раз полчаса во всем районе ни зги. Надолго сюда? Меня, кстати, Дани зовут.

— Соня. Не знаю еще, как выйдет. Хотелось бы навсегда.

— Так, это, будем знакомы! — Парень расплылся в улыбке. Улыбка у него была хорошая, простецкая такая, располагающая. — Если чего — мы напротив. Мы с ребятами живем, на схируте (*снимаем*). А ты одна? Сама откуда приехала?

— Из Москвы.

— Вона чё! Ну брухим ха боим! (*Добро пожаловать!*) А я с Нижнего Тагила. Уже десять лет как здесь, а кажись, вчера только. Ты, это, кричи если что, не стесняйся. Токо не так громко. А то я уж решил, убивают кого. Поседел весь, пока добежал.

Я рассмеялась. Волосы у парня были льняные, как только у северян каких-то бывают.

— И ты так, запросто, рванулся помочь? А если б вправду кого-нибудь убивали?

— Дак, это... — Приподняв край майки, парень продемонстрировал пистолет.

— Я ж, это, в шмире (*в охране*) работаю. Привык уже, без нешека (*без оружия*) никуда. Хотя если б не было, палку бы

какую приспособил. Тут же главное не ждать, а самому, это, сразу жахнуть. Пока с другой стороны не очухались.

— Ясно. Теперь буду спать спокойно, зная, что за люди у меня за стеной. Даня, ты извини. Мне ужасно неудобно, но я только час назад...

— Да ладно, чё! Бывай, короче. Обживешься, на чай зови. Или на чего покрепче. Мы насчет этого завсегда.

Дани шуточно откланялся, и дверь за ним затворилась.



Я обошла квартиру. Заглянула в ванную, туалет, кладовку, пошарила под обеими мойками. Время от времени то справа, то слева слышалось сдержанное хихиканье. Но везде было пусто, никто ниоткуда не показывался.

Наконец я сдалась. Выйдя на середину салона, я строго произнесла:

— Хватит! Поиграло, и будет. Что б ты ни было, выходи! Рассказывай, что ты, на фиг, такое. А то я завтра священника позову. Со святой водой.

Хихиканье сделалось громче.

— Я серьезно! Есть у меня тут один, знакомый. Из Сергиева подворья.

Хихиканье зазвучало громче, как бы сразу со всех сторон.

Ну ясно, еврейская нечисть православных священников не боится. И как я теперь спать здесь буду? Может, к Дани этому попроситься? Изобразить внезапную страсть? А дальше что? В Москву возвращаться? Приехала, называется, к себе домой...

— А ну тебя! — Бросив поиски, я возвратилась в папы-Сашину комнату. — Делай что хочешь. Я устала и спать иду. Хватит с меня этой чертовщины.

Повернувшись к стене, укрывшись с головой одеялом, я вдохнула давно забытый запах папы-Сашиного одеколona. Он был здесь на всем: на матрасе, на подушках, он, похоже, намертво въелся в деревянное изголовье.

Я твердо решила, что мне все пофиг. Буду здесь спать. Буду здесь жить. А оно пусть себе как знает.

Кто-то легонько тронул меня за плечо. Я нехотя повернулась. В слабом свете ночника на меня смотрели два голубых, вполне человеческих глаза, очень похожие на папы-Сашины. Брови домиком. Ресницы такие светлые, что почти уж и не видны. Спутанные грязные волосы до плеч.

Скуластая мордашка с острым носиком и огромным ртом, готовым чуть что скривиться от плача или разъехаться до ушей в улыбке.

— А ты не знаешь, кто я! — Хихиканье, переходящее в смех.

— Не знаю. Ты ж не хочешь говорить.

— А я знаю. Ты — Соня. Они говорили, что ты придешь.

— Ну вот, я пришла. А они — это кто?

— Мама с папой.

— И где ж они?

— Папа умер, ты знаешь. А мама ушла.

— Ушла? Куда же она ушла? И почему тебя не взяла с собой?

— Мама ушла туда, куда мне нельзя. Я для этого слишком ма-терь-яль-ная, — с трудом выговорила она длинное слово.

— Это как?

— Ну тяжелая. Много вешу.

— Ты — много вешишь?!

Я свесилась с кровати и втащила ее к себе. Она была почти невесомой. Сколько ей может быть? На вид — восемь-девять.

— И ты все это время была здесь? Убиться можно! Одна? И не боялась? А что ты ела?

— Ну... — Она наморщила лоб. — Мне необязательно есть. Я, знаешь... могу есть. А могу и не есть.

— Значит, ты дочь папы Саши? — Осторожный кивок. — И знаешь, кто я, знаешь, как меня зовут? — Снова кивок, на сей раз с хитрой усмешкой. — А тебя как зовут?

Она задумалась.

— Папа меня звал Тёмное дитя, — сказала без тени улыбки. — Если чтобы коротко — Тёма. А мама... — Она открывает рот, и оттуда вылетает столь сложный набор звуков, что я и не пытаюсь его воспроизвести. — Трудно? Ну вот, папа тоже не мог. Потому и Тёма. Хотя это, он говорил, скорее, для мальчика имя. А я, наверное, скорее, девочка.

— Скорее?

— Ну да. Я еще не решила, кем лучше буду. Решу потом, когда вырасту. Соня, а можно мне спать с тобой? Я потому что так ужасно устала все время одна! Всего одну ночь, ладно? Ну, пожалуйста!

Конечно же, я сдалась. Знаете, небось, что такое бесовское наваждение?

В первые дни все тебя радует и восхищает — любой пустяк, любая самая мелкая мелочь. Резкий запах отдушки от висящего во дворе белья. Цветущий миндаль на газонах посередине проезжей части. Навязчивое воркование египетских горлиц по утрам. стакан свежесжатого сока в киоске на углу. Заросли розмарина у подъезда, в которые, подходя к дому, хочется окунуть руки, как в воду, чтобы они потом долго пахли свежим успокаивающим зеленым с чуть голубым. Вымахавший до второго этажа фикус с темными глянцевыми листьями. Цветущее алоэ на заднем дворе и парящая над ним крошечная нектарница, на лету погружающая клюв в самую сердцевину цветка.

Было странно и стремно идти с ней в первый раз по улице, ведь у Тёмы не было тени. Но я быстро убедилась, что никто, кроме меня, не обращает на это внимания.

— А ты почему оставляешь птичьи следы? Ведь ноги у тебя обычные, человеческие.

— А я оставляю? Ну, наверное, потому, что я только наполовину человек...

— А наполовину птиц, да?

Мы хохочем-заливаемся. Нас с ней все смешит. Как дурочки, палец покажи — и ну хохотать.

Подъемные, выданные мне в аэропорту, я растратила в считанные дни, причем изрядная часть их ушла на Тёму. Заколочки, ободочки, ленточки, блокнотики и карандаши, куча одежды и обуви, роскошной, но, в основном, непрактичной.

— А знаешь, что это я все в твоей комнате разломала?

— Знаю. Не знаю только почему.

— Папа сказал, что теперь это все мое. Что раз ты выросла, тебе не нужно. И я могу с этим делать что хочу. Но оно все равно было твое. С этим ничего не поделаешь. Начинаешь играть, берешь в руки и сразу видишь. Ничего не получалось, ни играть... ничего. Берешь и знаешь — это Соне купили, когда зуб вырвали, это она из Москвы привезла, куклу ей подружка на рождение дарила.

— Ты это чувствовала, когда трогала вещь руками?

— Ну да. И мне это мешало, ну как если смотришь чужие сны. Я ведь это потом все помнила, даже иногда забывала, со мной было или нет. И папа тоже иногда путал, звал меня не Тёма, а Соня. И я стала бояться, что забуду совсем, где ты, а где я. И тогда я это все сломала, чтоб больше никакой тебя не было. А папа сперва сердился, а потом больше не вспоминал. Он ведь уже болен был.

— Ты что же, так меня ненавидела?

— Да-а, — со счастливой улыбкой от уха до уха.

Я не выдерживаю и улыбаюсь в ответ, потому что это и вправду ужасно смешно, что кто-то мог вот так до смерти меня ненавидеть. Смешно и все равно страшно.

— Тём, а когда я приехала, ты вправду хотела меня убить?

Тёма задумывается. Закусывает кончик косы. Морщит лоб. Я вспоминаю, что, кажется, нечисть не может лгать. Или, наоборот, лжет все время?

— Хотела. И не хотела. Сперва я тебя не узнала. Я ж тебя большой никогда не видела. Потом, когда поняла, что ты это ты, еще сперва немножко хотела, но уже совсем быстро расхотела и стала тебя любить. Потому что ты хорошая и больше не нужно быть одной.

— Ясно!

Ничего мне не ясно. Но ведь просто невозможно поверить, чтобы от этого хрупкого, беззащитного существа могла исходить какая бы то ни было опасность. Наоборот, ее саму хочется все время беречь и от всего защищать.

— Тём, а ты когда-нибудь ходила школу?

— Нет.

— А хотела бы?

Она опять задумывается, потом кивает, но тут же добавляет:

— Но это нельзя. — По-взрослому разводит руками. — Никак не получится.

— Что? Почему? Думаешь, все сразу догадаются, что ты...

— Не в том дело! Просто у меня ведь нет теудат зэута. А без него в школу не возьмут.

Надо же, а я и не подумала! Любого израильянина любого пола-возраста разбуди среди ночи, и он сразу без запинки отбарабанит тебе девять цифр — номер своего удостоверения личности. Я свой номер, честно говоря, еще не выучила, но уже на грани. Потому что куда ни придешь: в министерство абсорбции, в поликлинику, в банк, в муниципалитет, — всегда первый вопрос: «Бэвэкаша, теудат зэут, колель сифрат бикорет!» *(Пожалуйста, номер вашего удостоверения, включая последнюю, контрольную цифру!)*

Без этого с тобой и говорить не станут, без этого ты словно бы и не существуешь. Каждому рожденному здесь ребенку присваивается номер в первые сутки жизни. Каждый задержавшийся сроком до года турист, каждый получивший временный вид на жительство получает свой номер, и номер

этот останется с ним всю здешнюю жизнь и даже какое-то время после смерти. «Как мне найти могилу такого-то?» — «А какой у него теудат зэут?»

Мы с Тёмой стоим на Масличной горе, возле папы-Сашиной могилы.

Солнце заходит, и с горы виден весь Иерусалим. Все вперемешку — кресты, минареты, купола, петух, который три раза не успел прокричать. От стен Старого города улицы разбегаются во все стороны. Взгляд сразу отыскивает дом с квадратной дырой, по нему я ориентируюсь, где улица Яффо. А если б была там, внизу, ориентировалась бы на старый машбир. Он, как зуб, торчит среди прочих, невысоких домов. Внизу в нем русский бар, там крутят без звука старые мультики и бывают иногда рок-концерты. А рядом ворота в никуда с надписью «Таали такуми» («*Восстань, девица*») — все, что осталось от стоявшего когда-то на этом месте детского дома для девочек.

— Тёма, папа очень мучился?

— Ну, он болел. На меня часто сердился, на маму кричал.

— Кричал? Не могу себе представить.

— Он из-за меня кричал.

— Из-за тебя?!

— Кричал: «Кто вот эта девочка, кто?! Зачем ты меня во все это втравила?! Что теперь с нею будет?»

— Потому что он тебя любил очень. Переживал, волновался. Он же не на тебя кричал?

— Нет, на маму. А мама говорила: «Не бойся, с ней все будет хорошо. Она не как ваши дети, она сильная, она со всем справится. Ты, главное, сделай, как я сказала».

— Он сделал?

— Наверное. Я не знаю, про что точно они говорили. Папа тогда сказал: «Только не забывай, Тёма же не как ваши дети. Ей будет больно и страшно, она будет плакать».

— А мама?

— Мама рассмеялась.

— Рассмеялась?!

Убиться можно! Как в такую минуту можно смеяться?! Когда возле тебя умирают?!

Хотя если это долго длится, то смеяться, наверное, даже нужно. Смех и улыбки продлевают жизнь, про это я читала. В кино опять же сестры в хосписах всегда улыбаются. Правда, это кино, а не жизнь.

Мне в который раз делается стыдно, что я тогда не сорвалась, не приехала. У нас с Сережкой был очередной



поворотный момент, он бы меня не понял — как, ни с того ни с сего не к отцу даже, а к отчиму?! Такие деньги на билет, ты с ума сошла?! У нас и без того проблем хватает. Да и узнала я поздно.

Потом, когда пришло это письмо вместе с официальной копией завещания, до Сережки, кажется, чего-то дошло. Немного странное письмо, я даже слегка удивилась, но потом решила, что это в порядке вещей, кто ж пишет перед смертью нормальные письма, это было б даже неестественно. «Обнимаю мою родную солнечную девочку! Как прочтешь, меня уже здесь не будет. Это письмо тебе отошлют после моей смерти. Не расстраивайся, не переживай, что чего-то мне сказать не успела. Считай, ты все сказала, а я все услышал. Я тебя тоже, всегда и очень крепко. Помни, ты мне самый близкий на земле человек! Поэтому оставляю тебе самое ценное и дорогое, что нажил, — квартиру и то, что в ней есть. В надежде, что сумеешь сберечь и распорядиться, как надо. Ты умница, я в тебя верю! Свидимся после, когда-нибудь, там. (Если Мошиах придет раньше, учти, я в Храме, слева от входа, как войдешь, сразу меня там найдешь.) Твой папа Саша».

Верит он! Нет бы все как следует объяснить! Я б тогда, конечно, немедленно... Да ведь я же и собиралась!

К письму были приложены деньги на билет. Но Сережка убедил меня, что на похороны я и так опоздала, у евреев ведь хоронят в тот же день, как у мусульман. Сережка это точно знал, он сам наполовину татарин. А продать квартиру и не приезжая можно. Через адвокатов. Он даже начал с ходу на эту тему что-то организовывать. У Сережки при слове «деньги» глаза всегда разгораются.

Но я это дело приостановила. Сперва, сказала, поеду посмотрю, что да как. По этому поводу мы в очередной раз поругались. Потом, правда, помирились, но я уж старалась про Израиль лишний раз не упоминать. Не то чтобы это помогало. Предлог всегда находился. Ну а уж когда он на меня руку поднял...

Стоп. Хватит об этом. Проехали.

Главное, если б папа Саша в письме хоть намекнул! Самое дорогое...

— Ну пойдём уже, пойдём! — Тёма терпеть не может стоять долго на одном месте.

— Постой, дай хоть камешек положу.

Камешек я привезла с собой. Кусочек асфальта с нашего двора. Так сказать, пригоршню родной земли. Ну а что я могу

поделать, если двор наш еще до моего рождения заасфальтировали? Хорошо хоть, кусочек этот под ноги попался перед отъездом. Будто нарочно откололся.

Будь покоен, папа Саша. Ты можешь на меня положиться!

Страшно подумать, что было б, послушайся я тогда Сережку!

Впрочем, папа Саша наверняка знал, что я так не поступлю.

\*

— Тём, если не прекратишь баловаться с электричеством, я с тобой не знаю что сделаю! Смотри, сколько опять нагорело!

Как именно Тёма поглощает электричество, неясно, но счетчик от одного ее взгляда удваивает обороты. Определенно, Тёма предпочитает электроэнергию обычной еде.

— Нет, ну посмотри, какой счет! Убиться можно! Опять за тысячу перевалило! У меня просто нет таких денег! Все мои никаёны уйдут на хеврат хашмаль! *(Деньги, вырученные за уборку чужих квартир, уйдут электрической компании!)*

Молчит. Стала ко мне спиной. Ковыряет стенку носком ботинка. На стенке в этом месте уже дыра скоро будет.

— Тём, ну почему ты всегда молчишь?! Скажи что-нибудь!

Не поворачивая головы:

— Что сказать?

— Ну скажи, что больше не будешь.

— Буду!

— Тём, ну давай по-хорошему. Я понимаю, у тебя такая физиология. Но ты хоть бери не больше, чем надо! К тебе иногда притронуться страшно — искрами сыплешь, током бьешь! Нельзя ж так! Это ведь деньги!

— А я знаю, сколько мне надо? Просто беру.

— Так бери по минимуму! Без запроса! А то ж я из-за тебя в трубу вылечу.

Сопит. Ну как с такой разговаривать?

— Тёма, иди поешь по-человечески. Я борщ сварила!

В ответ — ни звука. Оборачиваюсь — в салоне пусто.

— Тём, кончай прятаться! Тёмка, ты же любишь борщ! Тём, ты что, сердисься на меня? Ну перестань, я же не хотела. Я хотела только, чтоб ты поняла... Тёма-а!

Конец ознакомительного фрагмента.  
Приобрести книгу можно  
в интернет-магазине  
«Электронный универс»  
[e-Univers.ru](http://e-Univers.ru)